

ЛЕОНЕ ЛЕОНИ

1

Мы были в Венеции. Холод и дождь прогнали прохожих и карнавальные маски с площади и набережных. Ночь была темной и молчаливой. Издали доносился лишь монотонный рокот волн Адриатики, бившихся об островки, да слышались оклики вахтенных с фрегата, стерегущего вход в канал Сан-Джорджо, вперемежку с ответными возгласами с борта дозорной шхуны. Во всех палаццо и театрах шумел веселый карнавал, но за окнами все было хмуро, и свет фонарей отражался на мокрых плитах; время от времени раздавались шаги какой-нибудь запоздалой маски, закутанной в плащ.

Нас было только двое в просторной комнате прежнего палаццо Нази, расположенного на Словенской набережной и превращенного ныне в гостиницу, самую лучшую в Венеции. Несколько одиноких свечей на столах и отблеск камина слабо освещали огромную комнату; колебания пламени, казалось, приводили в движение аллегорические фигуры божеств на расписанном фресками потолке. Жюльетте нездоровилось, и она отказалась выйти из дому. Улегшись на диван и укутавшись в свое горностаевое манто, она, казалось, покоилась в легком сне, а я бесшумно ходил по ковру, покуривая сигареты «Серралло».

Нам в том краю, откуда я родом, известно некое душевное состояние, которое, думается мне, характерно именно для испанцев. Это своего рода невозмутимое спокойствие, которое отнюдь не исключает, как, скажем, у представителей германских народов или завсегдаев восточных кафе, работу мысли. Наш разум вовсе не притупляется

и при том состоянии отрешенности, которое, казалось, целиком завладевает нами. Когда мы, куря сигару за сигарой, целыми часами размеренно шагаем по одним и тем же плиткам мозаичного пола, ни на дюйм не отступая в сторону, именно в это время происходит у нас то, что можно было бы назвать умственным пищеварением; в такие минуты возникают важные решения, и пробудившиеся страсти утихают, порождая энергические поступки. Никогда испанец не бывает более спокоен, чем в то время, когда он вынашивает благородный или злодейский замысел. Что до меня, то я обдумывал тогда свое намерение; но в намерении этом не было ничего героического и ничего ужасного. Когда я обошел комнату раз шестьдесят и выкурил с дюжину сигарет, решение мое созрело. Я остановился подле дивана и, не смущаясь тем, что моя молодая подруга спит, обратился к ней:

— Жюльетта, хотите ли вы быть моей женой?

Она открыла глаза и молча взглянула на меня. Полагая, что она не расслышала моего вопроса, я повторил его.

— Я все прекрасно слышала, — ответила она безучастно и снова умолкла.

Я решил, что предложение мое ей не понравилось, и ощутил страшнейший приступ гнева и боли, но из уважения к испанской степенности я ничем себя не выдал и снова зашагал по комнате.

Когда я делал седьмой круг, Жюльетта остановила меня и спросила:

— К чему это?

Я сделал еще три круга по комнате; затем бросил сигару, подвинул стул и сел возле молодой женщины.

— Ваше положение в свете, — сказал я ей, — должно быть, терзает вас?

— Я знаю, — ответила она, поднимая чудесную головку и глядя на меня своими голубыми глазами, во взоре которых, казалось, равнодушие стремилось побороть грусть, — да,

я знаю, дорогой Алео, что моя репутация в свете непоправимо запятнана: я содержанка.

— Мы все это перечеркнем, Жюльетта; мое имя снимет пятно с вашего.

— Гордость грандов! — молвила она со вздохом. Затем она внезапно повернулась ко мне; схватив мою руку и, вопреки моей воле, поднеся ее к своим губам, она добавила: — Так это правда? Вы готовы на мне жениться, Бустаменте? Боже мой! Боже мой! К какому сравнению вы меня невольно принуждаете!

— Что вы хотите этим сказать, дорогое дитя мое? — спросил я.

Она мне не ответила и залилась слезами.

Эти слезы, причину которых я слишком хорошо понимал, глубоко задела меня. Но я тут же подавил вспышку бешенства, которую они во мне вызвали, и, приблизившись, сел возле Жюльетты.

— Бедняжка, — молвил я, — так эта рана все еще не затянулась?

— Вы разрешили мне плакать, — отвечала она, — это было первое наше условие.

— Поплачь, моя бедная, обиженная девочка! — сказал я ей. — А потом выслушай меня и ответь.

Она вытерла слезы и вложила свою руку в мою.

— Жюльетта, — продолжал я, — когда вы называете себя содержанкой, вы просто не в своем уме. Какое вам дело до мнения и грубой болтовни каких-то глупцов? Вы моя спутница, моя подруга, моя возлюбленная.

— О да, увы! — откликнулась она. — Я твоя любовница, Алео, и в этом весь мой позор. Мне следовало бы скорее умереть, чем вверять такому благородному сердцу, как твое, обладание сердцем, в котором все уже почти угасло.

— Мы постепенно оживим тлеющий в нем пепел, дорогая моя Жюльетта. Позволь мне надеяться, что там таится хотя бы одна еще искорка и что я смогу ее отыскать.

— Да, да, я тоже надеюсь, я этого хочу! — живо отозвалась она. — Итак, я буду твоей женой? Но для чего? Разве я стану больше любить тебя? Разве ты станешь более уверен во мне?

— Я буду знать, что ты стала счастливее, и от этого буду счастливее сам.

— Счастливее? Вы ошибаетесь: с вами я счастлива настолько, насколько вообще можно ею быть. Каким образом титул доньи Бустаменте смог бы сделать меня еще счастливее?

— Он защитил бы вас от наглого презрения света.

— Света! — воскликнула она. — Вы хотите сказать — ваших друзей? Да что такое свет? Я никогда этого не понимала. Я уже многое повидала в жизни и много поездила по земле, но так и не заметила того, что вы называете светом.

— Я знаю, что ты до сих пор жила, как зачарованная девушка под хрустальным колпаком, и все же я видел, как ты горько плакала над своей тогдашней горестной судьбой. Я дал себе слово, что предложу тебе мой титул и мое имя, как только буду уверен в твоей привязанности.

— Вы меня не поняли, дон Алео, если подумали, что плакала я от стыда. Для стыда не было места в моем сердце. В нем было достаточно других горестей, которые переполняли его и делали нечувствительным ко всем проявлениям внешнего мира. Люби он меня по-прежнему, я была бы счастлива, даже будучи опозоренной в глазах того, что вы зовете светом.

Я был не в состоянии побороть приступ гнева, от которого весь задрожал. Я встал, чтобы снова зашагать по комнате. Жюльетта удержала меня.

— Прости, — промолвила она растроганно, — прости мне ту боль, что я тебе причиняю. Не говорить об этом — свыше моих сил.

— Так говори, Жюльетта, — ответил я, подавляя горестный вздох, — говори же, если это способно тебя утешить! Но неужто ты так и не можешь его забыть, когда все, что тебя окружает, направлено к тому, чтобы приобщить тебя к иной жизни, иному счастью, иной любви!

— Все, что меня окружает! — воскликнула Жюльетта взволнованно. — Да разве мы не в Венеции?

Она встала и подошла к окну. Ее юбка из белой тафты ложилась тысячею складок вокруг ее хрупкой талии. Ее темные волосы, выскользнув из-под больших булавок чеканного золота, которые их почти не удерживали, ниспадали ей на спину пахучей шелковистой волною. Ее щеки, тронутые бледным румянцем, ее нежная и в то же время грустная улыбка делали эту женщину такой прекрасной, что я позабыл обо всем, что она говорила, и подошел к ней, чтобы сжать ее в своих объятиях. Но она отдернула оконные шторы и, глядя сквозь стекла, на которых заблестел влажный луч луны, воскликнула:

— О Венеция! Как ты изменилась! Какой прекрасной я тебя видела когда-то и какой пустынной и унылой кажешься ты мне сегодня!

— Что вы говорите, Жюльетта? — воскликнул в свою очередь я. — Разве вы уже бывали в Венеции? Почему же вы мне об этом не говорили?

— Я заметила, что вы горите желанием увидеть этот прекрасный город, и знала, что одного моего слова достаточно, чтобы помешать вашему приезду сюда. Зачем мне было принуждать вас к тому, чтобы вы изменили свое решение?

— Да, я бы его изменил! — вскричал я, топнув ногой. — Да если бы мы уже въезжали в этот проклятый город, я заставил бы повернуть лодку и пристать к иному берегу, который не осквернен подобным воспоминанием; я домчал бы вас туда, я доставил бы вас туда вплавь, приведишь мне выбрать между подобной переправой и этим вот домом,

где вы, быть может, на каждом шагу ощущаете жгучий след его присутствия! Скажите же, наконец, Жюльетта, где я с вами мог бы укрыться от прошлого? Назовите мне город, укажите хоть какой-нибудь уголок Италии, куда бы этот проходимец не таскал вас с собою!

Я побледнел и задрожал от гнева. Жюльетта медленно повернулась, холодно взглянула на меня и снова отвела глаза к окну.

— Венеция, — проронила она, — мы любили тебя когда-то, и даже теперь я не могу глядеть на тебя без волнения: ведь он тебя боготворил, он вспоминал о тебе всюду, куда бы ни приезжал; он называл тебя своей дорогой отчизной, ибо ты была колыбелью его знатного рода и один из твоих дворцов еще поныне носит то же имя, что носил он.

— Клянусь смертью и вечным блаженством, — процедил я, понизив голос, — завтра же мы расстанемся с этой дорогой отчизной!

— Вы можете завтра расстаться и с Венецией, и с Жюльеттой, — ответила она мне с ледяным хладнокровием. — Что же до меня, я не желаю получать приказаний от кого бы то ни было и покину Венецию, когда мне заблагорассудится.

— Я, кажется, вас понимаю, сударыня, — возмущенно возразил я. — Леони в Венеции.

Жюльетта вздрогнула, точно ее поразил электрический ток.

— Что ты говоришь? Леони в Венеции? — вскричала она в каком-то бреду, бросаясь ко мне на грудь. — Повтори, что ты сказал, повтори его имя! Дай мне хотя бы еще раз услышать его! — Тут она залилась слезами и, задыхаясь от рыданий, почти потеряла сознание. Я отнес ее на диван и, не подумав помочь ей еще как-то иначе, стал снова расхаживать по краю ковра. Постепенно гнев мой утих, как утихает море, когда уляжется сирокко. Внезапное раздражение сменилось острой и мучительной болью, и я разрыдался, как женщина.

2

Все еще погруженный в свои терзания, я остановился в нескольких шагах от Жюльетты и взглянул на нее. Она лежала, отвернувшись к стене, но трюмо высотой в пятнадцать футов, занимавшее весь простенок, позволяло мне видеть ее лицо. Она была мертвенно-бледна; глаза ее были закрыты, точно она спала. Выражение ее лица говорило скорее об усталости, нежели о страдании, и полностью передавало то, что творилось у нее в душе: изнеможение и безучастность начинали брать верх над недавней бурной вспышкой чувств. Ко мне вернулась надежда.

Я тихо назвал ее по имени, и она взглянула на меня с каким-то изумлением, словно память ее утратила способность хранить в себе слова и поступки, а душе уже не доставало сил таить горечь обиды.

— Что тебе? — промолвила она. — Почему ты меня разбудил?

— Жюльетта, — прошептал я, — прости меня, я тебя оскорбил, я уязвил твое сердечное чувство...

— Нет, — ответила она, поднося одну руку ко лбу и протягивая мне другую, — ты уязвил лишь мою гордость. Прощу тебя, Алео, помни, что у меня нет ровно ничего, что я живу тем, что даешь мне ты, что мысль о моей зависимости для меня унижительна. Я знаю, ты был добр, ты был щедр ко мне; ты окружаешь меня заботами, осыпаешь драгоценностями, ты подавляешь меня всей роскошью и великолепием, которые тебе привычны; не будь тебя, я умерла бы в какой-нибудь больнице для бедных или меня бы заперли в сумасшедший дом. Мне это хорошо известно. Но вспомни, Бустаменте, что все это ты сделал помимо моей воли, что ты взял меня к себе полумертвой и оказал мне помощь и поддержку, когда у меня не было ни малейшего желания их принимать. Вспомни, как я хотела умереть, а ты просиживал ночи напролет у моего изголовья, держа меня за

руки, чтобы помешать мне покончить с собою. Вспомни, что я долгое время отказывалась от твоего покровительства и твоих благодеяний и что если я принимаю их теперь, то делаю это отчасти по собственной слабости и потому, что мне опостылела жизнь, отчасти из чувства привязанности и признательности к тебе, умоляющему меня на коленях не отвергать твоей поддержки. Ты ведешь себя самым достойным образом, друг мой, я это прекрасно понимаю. Но разве я виновата, что ты так добр? Неужели меня можно серьезно упрекать в том, что я унижаю себя, когда, одинокая, в полном отчаянии, я доверяюсь самому благородному сердцу на свете?

— Любимая, — прошептал я, прижимая ее к груди, — твои слова — великолепный ответ на подлые оскорбления негодяев, которые тебя не признали. Но к чему ты все это мне говоришь? Неужто ты считаешь необходимым оправдываться перед Бустаменте за счастье, которое ты ему подарила, за то единственное счастье, которое он познал в своей жизни? Оправдываться нужно мне, если только это возможно, ибо из нас двоих неправ я. Мне ли не знать, как упорно восставала твоя гордость и твое отчаяние в ответ на мои предложения; мне никогда не подобало бы об этом забывать. Когда я пытаюсь заговорить с тобою властным тоном, я просто сумасшедший, которого надо прощать, ибо страсть к тебе помutilа мой разум и лишила меня последних сил. Прости меня, Жюльетта, забудь о минутной вспышке гнева. Увы! Я не способен внушить к себе любовь; в моем характере есть какая-то резкость, которая тебе неприятна. Я оскорбляю тебя в тот момент, когда уже начал тебя излечивать, и нередко за какой-нибудь час я разрушаю то, что создавал в течение долгих дней.

— Нет, нет, забудем эту ссору, — прервала Жюльетта, целуя меня. — Если ты мне причиняешь подчас какую-то боль, то я ведь причиняю тебе в сто раз большую. Ты бываешь порою властен, я в своем горе всегда жестока. И все

же не думай, что горе это неизлечимо. Твоя доброта и твоя любовь в конце концов восторжествуют над ним. Я была бы поистине неблагодарна, если бы отвергла ту надежду, которую ты мне сулишь. Поговорим о замужестве в другой раз. Быть может, тебе удастся меня убедить. Тем не менее я должна признаться, что боюсь такого рода зависимости, освященной всеми законами и всеми предрассудками: она почетна, но она ненарушима.

— Еще одно жестокое слово, Жюльетта! Неужто ты боишься стать навсегда моей?

— Нет, конечно, нет! Я сделаю все, что ты захочешь. Но оставим это на сегодня.

— Так окажи мне тогда другую милость вместо этой: давай уедем завтра из Венеции.

— С радостью! Что мне Венеция, да и все остальное? Не верь мне, слышишь, когда иной раз я сожалею о прошлом: во мне говорит лишь досада или безумие! Прошлое! Боже правый! Неужто ты не знаешь, сколько у меня причин, чтобы его ненавидеть? Пойми, это прошлое меня совершенно сломило! Да разве я в силах удержать его, даже если бы оно ко мне вернулось?

Я поцеловал Жюльетте руку в знак признательности за то усилие, которое она делала над собою, говоря это; но убедить она меня не смогла: внятного ответа я так и не получил. Я опять стал уныло шагать по комнате.

Подул сирокко и мгновенно высушил мостовые. И город снова, как обычно, весь зазвенел, и до нас донесся многоголосый шум праздника: то слышалось хрипкое пение подвыпивших гондольеров, то резкие крики масок, выходящих из кафе и пристающих к прохожим, то всплеск весел на канале. Пушка с фрегата послала прощальный салют дальним отголоскам лагуны, и те гулко отозвались, словно раскатами орудийного залпа. С пушечным громом слились грубая дробь австрийского барабана и мрачный звон колокола собора Святого Марка.

Мною овладел приступ отчаянной тоски. Догоравшие свечи опалили края зеленых бумажных розеток, бросая мертвенно-бледный свет на все предметы. Воображение мое населяло все вокруг какими-то причудливыми формами и звуками. Жюльетта, распростертая на диване и укутанная в шелк и горностаи, представлялась мне мертвой, запеленутой в саван. В пении и смехе, доносившихся с канала, мне чудились крики о помощи, и каждая гондола, скользившая под сводами мраморного моста, внизу, у моего окна, наводила меня на мысль об утопленнике, борющемся в волнах со смертью. Словом, я видел перед собой лишь безнадежность и роковой конец и не мог стряхнуть гнета, камнем лежавшего у меня на сердце.

Но мало-помалу я успокоился, и мысли мои стали менее сумбурными. Я пришел к выводу, что исцеление Жюльетты происходит слишком медленно и что, невзирая на все самозабвенные поступки, совершаемые ею ради меня из чувства признательности, сердце у нее болит так же, как в первые дни нашей встречи. Эти столь долгие и столь горестные сожаления о любви, отданной недостойному существу, казались мне необъяснимыми, и я попытался отыскать причину их в бесплодности моего собственного чувства. Должно быть, подумал я, в характере моем есть нечто такое, что внушает ей неодолимое отвращение, в котором она не смеет признаться. Быть может, мой образ жизни ненавистен ей, а между тем я как будто стараюсь сообразовать свои привычки с ее склонностями. Леони постоянно возил ее из города в город; я, вот уже два года, стараюсь тоже, чтобы она путешествовала, нигде подолгу не задерживаясь и тотчас же покидая любое место, лишь только замечаю малейшие признаки скуки на ее лице. И тем не менее она грустит. Сомнения нет: ничто ее не развлекает; а если она порой и улыбнется, то лишь из преданности. Даже все, что так нравится женщинам, не может победить ее скорбь. Скалу эту не поколеблешь, алмаз этот никак не потускнеет.

Бедная Жюльетта! Какая сила заложена в твоей слабости! Какое удручающее упорство в твоей апатии!

Незаметно для самого себя я стал выражать вслух все то, что меня терзало. Жюльетта приподнялась на локте; опершись о подушки и наклонившись вперед, она с грустью внимала моим словам.

— Послушай, Жюльетта, — сказал я, подходя к ней. — Я по-новому представил себе причину твоего горя. Я слишком подавлял твою скорбь, ты старалась запрятать ее глубже в своем сердце; я трусливо боялся взглянуть на эту рану, вид которой причинял мне страдание, ты великодушно скрывала ее от меня. Лишенная ухода и позабытая, рана твоя воспалялась с каждым днем, тогда как мне надлежало постоянно лечить и смягчать ее. Я был неправ, Жюльетта, тебе надо открыть свое горе, выплакать его у меня на груди. Нужно, чтобы ты поведала мне о своих минувших злоключениях, рассказала мне свою жизнь день за днем, назвала мне моего врага. Да, так нужно. Только что ты мне сказала слова, которых я не забуду; ты умоляла меня позволить тебе хотя бы услышать его имя. Так произнесем же вместе это проклятое имя, что жжет тебе язык и сердце! Поговорим о Леони.

Глаза Жюльетты зажглись невольным блеском. Я почувствовал, как у меня защемило сердце, но тут же пересилил свою боль и спросил Жюльетту, одобряет ли она мой план.

— Да, — ответила она серьезно, — полагаю, что ты прав. Знаешь, рыдания часто подступают мне к горлу, но, боясь огорчить тебя, я не даю им воли и таю свою боль в груди, как некое сокровище. Если б я могла раскрыть перед тобою душу, мне кажется, я бы не так страдала. Мое горе — нечто вроде аромата, который в закрытом сосуде сохраняется вечно; стоит лишь приоткрыть этот сосуд — и аромат быстро улетучится. Если бы я могла в любую минуту поговорить о Леони, рассказать тебе о малейших перипетиях нашей любви, перед моими глазами заново прошло

бы все то хорошее и дурное, что он мне сделал. Твоя же сильная неприязнь кажется мне порою несправедливой, и в глубине души я готова простить такие обиды, которые — услышь я о них из чужих уст — меня возмутили бы.

— Так вот, — сказал я, — мне хочется узнать о них из твоих уст. Я ни разу еще не слышал подробности этой мрачной повести; я хочу, чтобы ты мне о них рассказала, чтобы ты мне поведала свою жизнь всю целиком. Узнав твои горести, я, быть может, научусь, как их лучше исцелить. Расскажи мне, Жюльетта, обо всем; расскажи мне, каким образом смог этот Леони заставить так полюбить себя; скажи, какими чарами, какую тайною он обладал; ибо я устал тщетно искать путь к твоему неприступному сердцу. Я слушаю тебя, говори.

— О да! Я этого тоже хочу, — ответила она. — Это в конце концов должно меня успокоить. Но дай мне говорить и не прерывай меня ни единым намеком на какое-либо огорчение или раздражение, ибо я расскажу тебе все, как это происходило. Я расскажу тебе и о хорошем, и о дурном, о том, как я страдала и как я любила.

— Ты мне расскажешь обо всем, и я выслушаю все, — ответил я ей. Я велел принести новые свечи и раздуть огонь в камине. Жюльетта начала так.

3

«Как вам известно, я дочь богатого брюссельского ювелира. Отец мой был весьма искусен в своем ремесле, но при всем том малообразован. Начав простым рабочим, он стал обладателем крупного состояния, которое умножалось день ото дня благодаря удачным коммерческим операциям. Несмотря на недостаточность своего воспитания, он постоянно бывал в самых богатых домах нашей провинции; а мою мать, красивую и остроумную женщину, охотно принимали в обществе весьма состоятельных негоциантов.